

ПУШКИНСКАЯ КАНАРЕЙКА

«...Дочь», «рождённая» Аней Ревякиной в относительно далёком 2016 году, подросла (в смысле испытания временем, а не увеличения габаритов) и стала, пожалуй, «нашим всем» от военной поэзии.

Бесконечно переиздающаяся и берущаяся за основу для многих театральных постановок, поэма эта приобрела уже поистине культовый статус, но с хрестоматийным «нашим всем» — «солнцем русской поэзии» — её сближают рифмы не всегда столь общие и очевидные.

Например, «...дочь» убедительнейшим образом опровергает поговорку, где фигурирует лишённая финальной буквы фамилия упомянутого классика: «Когда говорят пушки, музы молчат».

Действительно, Аня сочинила высочайшего уровня поэтический текст в самый разгар событий, последовавших за «страшным августом четырнадцатого года», когда «два народа шли в любовую», бонусом зафиксировав реальную дату начала войны в Донбассе, случившуюся за восемь лет до старта СВО, причём с указанием подлинного агрессора (о ликвидируемых донецкой снайпершей украинских солдатах в поэме сказано, что «они почти все ровесники / развязавшей войну страны», с намёком на увековеченную Иосифом Бродским независимость Украины, объявленную в 1991 году), но без расчеловечивания противника, ибо всё-таки не орк, а «брат вгрызается брату в глотку», пусть Авель и «помнит, что всюду Каины».

Или — другой пример.

У Ревякиной главная героиня — Мария, попадающая в жернова междоусобицы, из-за которой погибает её папа, а в заглавие

произведения вынесен её семейный статус с привязкой к отцовской профессии.

Но не точно ли так же, не меняя ни слова, можно описать роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка»?

Разумеется, это будет бессовестной подтасовкой: в «Шахтёрской дочери» сюжет строится не вокруг авантюрных (и уж совсем не альковных) приключений, а ни один из лидеров киевского «Евромайдана» в подмётки не годится Емельяну Пугачёву, однако отзеркаливание, согласитесь, всё равно любопытное.

Тем более что знаменитая пугачёвская притча об орле и вороне (с крылатой фразой «чем триста лет питаться падалью, лучше раз выпить живой кровью») как бы перекидывает орнитологический, с позволения сказать, мостик к ревякинской поэме, где образ птицы является чуть ли не ключевым.

Смотрите сами.

Открывающаяся картиной, где «над полями, что за обочинами, / полно чёрного *воронья*», «...дочь» завершается тезисом, что «Донецк — это шахтёрские девочки и песня их *лебединая*».

Отец Марии, названный чуть позже «ясным *соколом* моим Николаем», ходит «по субботам гулять со своим *птенец*ом» (то есть с Марией), после чего этот «птенец» оперяется и начинает писать письма «на русском, а иногда на *птичьем*», да о чём писать! Что «мы все теперь стали *дичью*...»

Затем — ушедший на фронт Николай погибает («последнее небо его / выедаёт из глаз *вороньё*»), дочь отправляется мстить за отца (под лейтмотив: «Воронки, *вороньё*, война»), а мать сообщает ей в письмах, что «за кровавой речкою — / *вороны, вороны*...».

С приходом зимы Мария замечает, что в Донецке была «вольница, житница, а теперь безлюдье — лишь псы да *вороны*».

В кульминационной (композиционно филигранной: с лирическим отступлением на тему искушения греха смертоубийства

деторождением и ретроспективной, в эпистолярном жанре выполненной констатацией факта) сцене выстрела в висок вражескому воину (риторический по сути вопрос Марии: «Кто принудил тебя к оружию, / кто послал убивать своих?» — возвращает нас к разрешению дилеммы об определении агрессора) — «в небе зимнем, что запятая, / чёрный ворон — в броню одет», а «снег похож на лебяжий пух».

Далее — «птицы возвращаются на восток», знаменуя пришествие весны, но Марии не дают покоя мысли о «феврале обочин», «где не будут вылуплены птенцы».

И, наконец, над уже мёртвой главной героиней кружат легко визуализируемые метафорические «чёрные часовые».

Эта россыпь пернатых, относящихся к одному классу наземных позвоночных животных, но выступающих символом то смерти, то, наоборот, жизни, предстаёт словно бы проекцией донбасского конфликта, в котором ближайшие родственники оказались по разные стороны баррикад.

И на полях сражений (как в поэме, так и в реальности) сталкиваются не только люди и идеи, но и два неизбывных чувства — жалости и долга.

К слову, есть такая птица, не встреченная нами на страницах «...дочери», но зато фонетически прячущая в своём «позывном» имя её автора, Анны Ревякиной, — канарейка.

Именно эту птицу использовали донбасские (да и британские, а британцем, напомним, был учредитель Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств Джон Юз — основатель Юзовки, ставшей впоследствии Донецком) шахтёры в качестве газоанализатора: чувствительная к метану и монооксиду углерода, она, при достижении опасного уровня их концентрации, теряла сознание либо умирала, невольно подавая сигнал к эвакуации.

Говорят, что благодаря канарейке были спасены и исторические заметки Пушкина о Петре I: они якобы обнаружились

в усадьбе, где жили племянницы вдовы «нашего всего», — между прутьями клетки и обоями.

И что же получается?

«...Дочь» Ани Ревякиной, будучи не просто мастерски сотворённым произведением, но фактически (учитывая её злободневность, связанную с обильным кровопролитием) теплокровным и даже горячекровным существом, обладает свойствами сразу двух описанных канареек.

Подобно «шахтёрской», она приняла на себя первый удар, вдохнув ядовитые газы постмайданной АТО, но не задохнувшись ими, а оповестив неповоротливую планету о масштабах случившейся трагедии.

Подобно «пушкинской» — воспрепятствовала утере свидетельств переломной эпохи, когда «приходила война» и «забирала в строй / самых смелых и самых правильных из людей».

А Аня, безусловно, воздвигла себе нерукотворный памятник.

Матвей Раздельный